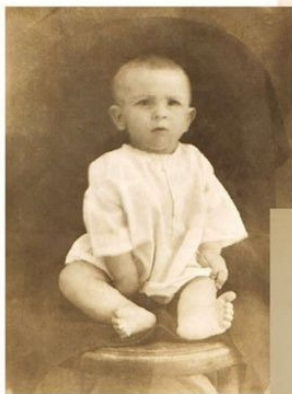


18+

Юрий Ивлиев

Эхо из прошлого

Воспоминания бывшего беспризорника



Юрий Ивлиев
Эхо из прошлого.
Воспоминания бывшего
беспризорника

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29607806

ISBN 9785449040688

Аннотация

«Эхо из прошлого» – воспоминания детских лет и юности Ивлиева Юрия Ивановича. В том числе и страшного времени Сталинградской битвы, посреди которой он оказался десятилетним мальчишкой. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Счастливое детство	10
Война	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Эхо из прошлого Воспоминания бывшего беспризорника

Юрий Ивлиев

Редактор Иван Владимирович Лагунин

© Юрий Ивлиев, 2018

ISBN 978-5-4490-4068-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«...Чтобы вспомнить какими мы были
загляните в семейный альбом...»

На «Радио России» работает «Немецкая Волна». Очень навязчиво просят: «А что Вы думаете о Германии? О немцах? Может быть, Вы все еще вспоминаете войну? Или Вас привлекает наш образ жизни? А может в Вас вызывает восхищение наши „Мерседесы“? Напишите нам!»

И я написал им и послал. То, что я послал им, это в начале моих записей. Судите сами. А дальше просто то, что сохранила моя память. Разрозненные воспоминания, с примерной

датировкой.

«Сталинград. Август. 1942-й г. Мама берет меня с собой, едем в повозке. Навстречу идут, едут, едут, идут. Бесконечная толпа людей, скота, повозок. Жара, ветра нет. Пыль висит плотной завесой, оседая на лица, на повозки, на спины волов, лошадей. У нас с мамой рты завязаны платками. Небо вылиняло, ни облачка, только маленькое жгучее солнце и пыль. По обочине идут стада, коровы опустили головы к земле. Все это скрипит, мычит, шелестит, наполняя воздух каким-то особым шебуршащим звуком. Кажется, что это поет сама пыль. Размеренный однообразный шорох. Вдруг размеренный ритм нарушается. Все приходит в беспорядочное движение, усиливается крик, и вопль превращается в громко кричащий общий рот – „ВОЗДУХ!“, появляются три самолета. Они идут углом, низко над толпой, над нами, и поливают дорогу свинцом. По земле прыгают фонтанчики пыли. Сделав три захода со стрельбой, самолеты пролетают последний раз с выключенными моторами, со зловещим свистом над растерзанной дорогой и скрываются за горизонтом. На земле валяются туши коров, лошадей, слышны человеческие стоны. Мне запомнилась женщина, лежащая на спине. Она раскинула руки и ноги, у нее вздымалась и опускалась грудь, пальцы рук сжимались в кулаки и разжимались, держались ноги в конвульсиях. Головы не было, а из шеи текла черная кровь, образуя лужицу. Живые оттащили мертвых на обочину. Задние напирали на стоящих, объезжали их. Все

снова пришло в движение. Снова скрип, шорох, пыль и жгучее солнце в зените».

«Сталинград. Октябрь. 1942-й год. (Или конец сентября). Нас, жителей Дар-Горы, немцы выгоняют из домов, собирают у кладбища и толпой гонят на Воропоново. Я потерялся от своей семьи и прибил к едва знакомой тете Соне. У нее на руках Санька, а за подол, ухватившись, семенит Файка. Ей семь лет, а Саньке месяцев шесть или восемь. Он все время орет. У тети Сони нет молока в груди. Она дает ему сиську, Санька чмокнет пару раз, выплюнет сиську и снова орет. Мы перешли за переезд, вышли за поселок, где-то между Воропоново и Рогачиком это было. Нам не дают ни еды, ни воды. А Санька все орет и орет. Медленно переступая ногами, сбоку идет здоровый немец-конвоир. Ему надоел, наверное, детским писк, он заходит в толпу, забирает у тети Сони Саньку. Отошел от дороги, бросил ребенка в кювет и наступил на тельце ботинком. Санька перестал пищать. У тети Сони глаза стали огромные, страшные. Бабы только ахнули и подхватили тетю Соню под руки. Немец снял с плеча винтовку и зло крикнул:

– Вег, вег! Русише швайне!

Ночевать нас расположили в степи. Конвойные устроились у костра возле повозки и лошадей, в стороне от нашей толпы. Я тихонько в темноте уполз в сторону и ушел обратно в город, меня не поймали».

«Сталинград. Ноябрь или декабрь 1942-й год. Около уг-

ла кирпичной развалины стоит немецкая полевая кухня. Воронка от авиабомбы, в нее сливают помои. Я кормлюсь из этой ямы, собираю картофельные очистки, мослы, корки-отскребыши из котла. Откуда-то из-за кухни появился немец:

– О, Русише швайне... – и что-то еще, мне непонятное, крикнул он.

Появился второй с автоматом в руках и фотоаппаратом. Наставил на меня автомат и с улыбкой дал очередь. Я брюхом вжался в помои, а на меня посыпалась земля. Немец что-то сердито закричал. Я приподнялся и сел, глядя на них со страхом, а это им и было надо. Немец сделал несколько снимков, бросил мне в яму пару галет и они ушли за кухню. «Данке ШЕН, Фрицы». Я вылез из воронки и на трясущихся ногах уполз в свою нору».

«Сталинград. Апрель-май 1943-й год. Тюльпаны, тюльпаны! Тогда весной среди лома отгремевших боев было особенно буйной цветение степи. Всепобеждающее утверждение жизни над кровавой жестокостью человека. Понуро бредущая лошадка, качая головой и помахивая хвостом, лениво, на постромах, тащит к яме несколько вздувшихся трупов. Возле ямы ждут груз могильщики, мобилизованные пятнадцати-шестнадцатилетние девчушки и пареньки. Отцепив от крючьев мертвяков их сталкивали в ямы-воронки, траншеи, бункеры, все, что было вырыто в теле Матери-Земли. Все годилось для захоронения и заглаживания „оспин“

на ее лице. И красное море тюльпанов, колышущееся море тюльпанов!»

Вот это я и послал на «Немецкую Волну». В мае 43-го мне было десять лет. После этого стала просыпаться память, а в шестьдесят лет я начал что-то записывать, и после семи лет труда стало вырисовываться подобие детских «мемуаров». В годы войны мы дневников не писали, а память, память избирательная и, возможно, что что-то вспомнилось и не так, как было на самом деле.

В 1987-м году мне сослуживцы по работе подарили на день рождения годовой поквартальный еженедельник, подарочное издание с символом Сталинграда «Мамой Таней» на Мамаевом Кургане. Пролежал он у меня в книжном шкафу несколько лет – не было ему применения. На работе у меня двенадцатичасовая смена. Каждый час снимаешь показания приборов, сведения передаешь диспетчеру и снова целый час безделья. Читать надоедает, рукоделием не занимался. Перечитал я тогда массу мемуарной литературы о прошедшей войне, война та вошла в мою плоть и не вышла до нынешней поры. Сидит она во мне, проклятая, занозой. И хотя я перечитал много воспоминаний полководцев, политработников, героев тыла, но так и не нашел воспоминаний о детстве своих сверстников, а мы, дети войны, уходим, мы уже стали стариками и наш опыт тех дней уходит с нами безвозвратно.

Вот тогда-то я и решился записывать свои воспоминания

о своем детстве в военные годы. Записывал все, что сохранила память, что пережил сам, и что слышал от своих сверстников в те, уже далекие, годы. А они, те рассказы, слились с моим, пережитым тогда, да так, что и отделить их одни от других уже невозможно. Оно, то время, наше общее, одно на всех. Жаль только то, что память мало отдает из своих тайников, а жизнь наша тогда не была однообразной, каждый прожитый день был событийным! Пытался записать от дня рождения и до выпуска из Ремесленного Училища. (1933 – 1950 гг.)

Счастливое детство

Родился я 11-го января 1933-го года в станице Вознесенской, Семиреченского Войска Казачьего, но к моменту моего рождения данное административное наименование было уже упразднено и именовалось, как село Вознесеновка, Джувальинского района, Сыр-Дарьинского округа Казахской ССР. Мамуля моя – Волжская Казачка, Астраханка. Батюшка мой относил себя к Уральским Казакам. Всю же жизнь свою я прожил на землях Донского Казачества. Смесь получилась взрывоопасная, но что получилось – то и получилось.

Бабушка моя, тихая, милая, глубоко верующая не могла решиться с родителями-атеистами-комсомольцами идти в ссору и крестить внука, но и без крещения по вере своей не могла оставить его нехристом. Крестила меня моя Бабаня, тайно, в восьмимесячном возрасте. При крещении возникла очень забавная оказия, каким-то образом мне удалось ухватить за бороду батюшку-попа. Видимо я дюже осерчал, что мне не делали водной купели, а так небрежно побрызгали водицей, ну вот и решил потрепать попа за бороду – до носа, наверное, не мог дотянуться. Имя мне нарекли Георгий, а на реплику Бабани, что родители кличут младенца Юрием, поп гневно ответил, что такого имени нет, а есть Георгий! Да и поп на меня осерчал и сказал моей Бабане, что жизнь у меня будет разбойная, варначья и порядочного из меня ничего

не выйдет. Тайное стало явным, и мои родители схлопотали по выговору от райкома комсомола, на том и завершилась эпопея моего крещения.

Столицу Семиреченского Войска Казачьего город Верный переименовали в Алма-Ату и сделали столицей Казахстана, а мои родители по призыву комсомола, превращали степном Казахстан в «цветущий сад».

1934-й год. Ослепительная яркая картинка в памяти. Белые, сверкающие пики гор, сочная зеленая трава. Я сижу в зембеле. Зембель за ручки несут двое самых-самых любимых – Папа и Мама. Мне Хорошо! Мне весело! И я пою? Мне сейчас пятьдесят пять, Маме семьдесят семь, я рассказываю ей это и спрашиваю – а было ли это? А она говорит, что помнить я этого не могу, так как меня годовалого увезли из Казахстана, это кто-то мне рассказывал, но мне этого никто не рассказывал, нет! Я просто помню это!

– Мама, так было ли это?... – настаиваю я.

– Наверное, было, мы ходили на базар в Алма-Ату и тебя таскали в зембеле, ты был тяжелый. Мы сажали тебя в кошелку и несли, раскачивая, тебе это очень нравилось, и ты визжал от восторга...

1935-36-е гг. Мама рассказывала. Ехали мы из Москвы. Ночью я вылез из-под опеки Мамы и стал шастать по вагону. Где-то поднял с пола бумажник и сел возле Мамы играть, а бумажник был набит крупными купюрами. Мама проснулась, увидела меня, сидящего на полу и засыпанного деньга-

ми. Ахнула и давай собирать и засовывать бумажки в бумажник. Документов там было, только деньги. Собрала и позвала проводника, указала на меня: «Нашел...» Пересчитали деньги. Сорок две тысячи. Просидели до утра. Утром проводница объявила о находке. Откликнулся один, небритый, опухший от пьянки вербовщик, ехал вербовать рабочих. Описал бумажник, назвал сумму, и, не поблагодарив никого, сунул деньги в карман. А мне даже конфетку не купил, хотя проводница ему прямо сказала и показала на меня, но он даже не посмотрел в мою сторону! Моя Мамулька всю жизнь сожалела, что отдала этому хаму мою находку!

– Если бы знала, что это такая неблагодарная харя, никогда, никогда, никогда не отдала бы ему «твои деньги»!

Не всегда, значит, честный поступок вызывает приятность в памяти.

1935-36-е гг. Может быть даже 37-38-е годы.

Скоро Рождество. Какими были в детстве праздники? Странно, но я не помню праздники, проведенные с родителями, хотя хорошо помню праздники с Бабаней. Как-то по весне гуляли с Папой в сквере. У Папы в карманах камни. Папа оглядывается, нет никого. Он достает из кармана камень и кидает его в окно церкви. Окна забраны фигурными решетками, а стекла цветные. Камни, брошенные Папой, разбивают стекла, некоторые камни попадают в переплеты решеток и отскакивают. Вокруг нет ни души. Церковь окружена деревьями и, перекидав все камни, мы, вдво-

ем с Папой, собираем осколки стекла. Помогая собирать разноцветные куски, я готов визжать от восторга, от разноцветия голубых, желтых, зеленых, красных стеклышек, от радости чего-то неизвестного. Дома Папа толчет стекла на мелкую крошку и посыпает крошкой обмазанную клеем картонную звезду. Звезда сияет всеми цветами радуги, переливается, искрится. Завтра Папа понесет меня на своих плечах на первомайскую демонстрацию, а я буду держать над головой самую красивую звезду. Из остатков крошки Папа изготовил калейдоскоп, и он был у нас очень долго, до самой войны.

Те же годы. Милая моя Бабаня взяла меня с собой в церковь. Наверное, был Пасхальный день. Сияло солнце, было тепло, тянулся колокольный звон. Люди были все веселые, и все было так мило, радостно, торжественно. Церковь внутри сияла огнями свечей, ярко горели ризы икон. Одеания священников, синеватый дымок благовоний, торжественное пение хора – все, все, все поднимало настроение! А мне запомнилось почему-то кладбище (наверное, у Казанской церкви) и склеп, сложенный из красного кирпича, покрытый железом, массивные железные двери, закрытые на замок. Над склепом стоял ангел с крестом. Меня это больше всего поразило. Чугунный ангел и огромный узорчатый замок на двери. А за дверью, по словам Бабушки, стояли гробы с покойниками богатой семьи. Не мог я никак вразуметь, почему всех покойников закапывают в землю, а эти закрыты

на замок, почему? Бабаня толковала мне, толковала, да все не могла объяснить, или я своим детским умишком не мог понять? Дедушка Ленин лежит, и его охраняют бойцы с ружьями, а тут замок. Ну почему не поставить бойцов с ружьями вместо замка? Вот было бы интересно смотреть на бойцов под ангелом с крестом.

Какое-то время мы жили в Средней Ахтубе. Мама и Папа преподавали в агромилиоративной школе, директором которой был Николай Трофимович Гринин. У Грининых было двое мальчишек-погодок, близкого мне возраста. Помню, играли. Я снимал панамку (тогда все дети носили панамки), насыпал в нее песок и пыль с дороги, и бросал вверх. Панамка падала и от удара об землю выбрасывала облачко пыли. В общем, для нас это были бомбы с аэроплана. Однажды такая бомба упала на голову одного из маленьких Гриненых. Я не помню их имен. В общем «взрыв бомбы» засыпал глаза. Слезы, крик. Брат увел с поля боя раненого в дом. Мать промыла сыну глаза, успокоила, и мальчишки снова пришли играть ко мне на улицу, ни какой паники! Редкая Мать отпустила бы свое дитяtko тот же час!

Суббота. Идет мокрый снег. Пасмурно и светло. Серое небо и белая чистая земля. С грустью и улыбкой вспоминаю наш дом: высокое крыльцо, чистый, твердо убитый земляной пол – это сени, потолка нет. Поперек две балки, увешанные всякой всячиной: ременные вожжи, связки сухих яблок, ламповые стекла, веники. А высоко-высоко под кры-

шей, между стропилами, заткнуто ружье. Настоящее – черный ствол, золотистый приклад. Я гляжу во все глаза. Мне так хочется поддержать ружье в руках. Я тянусь ручонками к нему:

– Дайте, дайте, – говорит все мое маленькое тельце. Но слышу грубый голос:

– Нельзя, мал еще!

Меня обжигает обида! Горячая, резкая, как удар, обида. Я еще не знаю, что буду большим. Весь мой мир – это я и окружающие меня Папа, Мама, Дяди и Тети. Я закусил губу. До крови закусил. Из глаз потекли слезы, молчаливые и обидные, горячие и злые. Это была моя самая первая обида, насколько я помню, потом были и другие, но это была самая первая!

– Мама, где это было и когда?

– Не знаю, мы тогда жили или в Фастово, или в Манкенте, тебе было годика три-четыре.

1936-й год. А я люблю лягушек. Я часами сижу у лужи и смотрю в ее зацветшую воду. Горячая земля, ласковое солнце, и теплая, теплая вода. А в зеленоватой воде плавают и мечутся дирижаблики-головастики. Лежат на дне на грязи и маленькие и большие. Потом появляются лягушата – маленькие с хвостиками. Я ловлю их и сажаю за пазуху под майку. Они такие забавные и холодные, ворочаются, копошатся у меня на животе, щекотно и смешно. Я хохочу, а большие тети ругаются: «Фу, какая гадость!...» Ну какая же это га-

дось? Такие веселые и шустрые холодные, когда на дворе такая жара. Я до сих пор люблю лягушек. Пусть их не любят другие!

Детский Сад. Катался на заднице с деревянной горки. В попу влезла огромная заноза-щепка. Боль ужасная, слезы сами текут ручьем, но я, стиснув зубы, молчу. Воспитательница вытаскивает занозу, а я молчу, больно, но молчу.

Убежал из садика домой. Шел и захотел какать. Штаны снять не сумел. Стою под деревом и плачу. Люди идут и не обращают на меня внимания. Мне и стыдно и неприятно – идти не могу. «...Бедное дитя, как же тебя мама-то бросила?...» – догадалась какая-то тетя. Завела домой к себе, подмыла, штаны и трусы постирала, покормила и пока одежда сохла, я уснул на диване. Потом тетя отвела меня домой. Получил нагоняй от Мамы, а мне весело. У меня есть хорошая знакомая Тетя.

Когда-то давно, я еще и в школу не ходил, мальчишки с улицы научили меня песенке, в общем-то, безобидной: «...Укусила Жучку Собачка, за больное место, за срачку. Стала Жучка пикать и плакать. Как я буду сикать и какать?...» Я исполнил этот куплет перед своим семейством и ожидал похвалы, но получил от Мамы вздрючку. Рано еще было собирать уличный фольклор.

У меня очень мало воспоминаний детства связанных с родителями. Воспитывала нас Бабаня, а Отец и Мать были вечно заняты на работе в разъездах по командировкам по Ста-

линградской области. Дома они бывали редко и мало уделяли нам внимания. Я даже читать научился не по букварю, а по «Закону Божьему» для начальных школ, дореволюционного издания, сохранившемся у Бабани. Воспитывала меня и улица. Спасибо ей за это, спасибо Родителям за свободу. Стал я тем, кем стал! Но выжил я в тяжкие годы войны благодаря улице. Она дала мне стойкость.

Играем в войну. У всех участников «сражений» имена героев Гражданской Войны. Кто постарше – тот Чапаев, Щорс, Котовский, есть и Петька, и Анка-пулеметчица. У малышни и слабаков Махно, Петлюра, Юденич. Мне по жребию дают имя «Колчак». Так уж выпало – обидно до слез. Я не хочу быть Колчаком, я не хочу играть в войну под этим именем! «Не буду!» Насупился, набычился, надул губы. А мне:

– Не хочешь – иди отсюда!

– Не пойду и играть не буду! – отвечаю я.

– Ну и не играй! А Колчак все равно будешь! И навсегда, раз ты такой противный...

– Ну и пусть...

Так я и остался Колчаком. В разные дни имена меняли по жребию по очереди. Так как уличные клички были практически у всех, то и мне с тех пор прилипла кликуха «Колчак». Раньше я был просто Юраш и Юраш, а из-за своего упрямства стал Колчаком. Сам виноват! Эта кличка продержалась до начала войны. В войну обрел кликуху «Серый». В ремеслухе кликуха была «Гений». Позже, когда стал соби-

рать монеты, значки и марки – прозвали «Философ» – «Силосов» – «Силос» – окончательное. От кликух освободился только в Армии. Но самая первая – «Колчак», мне была ненавистна и особенно противна, но вида я не подавал и смиренно откликался на нее.

Мы, самые маленькие, играем в нашем подвале. Это пустырь, на пустыре яма, обложенная красным кирпичом с перегородками. Сам дом сгорел давно, подвал остался. Жильцы близлежащих домов сваливают с сюда мусор, дохлых кошек. Кошек мы хороним в дальней комнате, там у нас кладбище. В передней играем. Изредка появляется женщина со страшными глазами. Она прижимает к груди всевозможные бумажки, которые собирает на улице и бормочет: «Деньги, мои деньги...» Мы боимся ее и убегаем. Бабаня говорит, что она убогонькая, бог лишил ее разума за грехи. Молодые говорят короче – дурочка. Старшие мальчишки подкрадываются сзади и, изловчившись, выбивают у нее из рук грудку бумажек. Ветер разносит их, но она не замечает этого и продолжает собирать новые, бормоча при этом «деньги, деньги, мои деньги». Однажды в нашем подвале обвалилась часть стены, и среди мокрых кирпичей обнаружился литой чугунный кувшин с красивым узором из цветов и листьев. С ручкой и крышкой. От удара при падении крышка открылась и из кувшина вытекла струя золотых монет. Обычно мы целыми днями играем одни, а тут оказались в толпе взрослых. Давка, крики, ругань. Я от страха в суматохе сунул одну де-

нежку в рот. То ли я ее потерял, то ли я ее проглотил. Рассказал об этом Бабане, она меня дня три-четыре не выпускала на улицу, и я сидел на горшке. Нашла ли она эту монетку, я не знаю. Мы потом долго играли этим кувшином, внутри он был обклеен зеленым бархатом.

Солнце только встает. Асфальт блестит умытый утренними поливальщиками. Я бегу, чтобы первым успеть к яме на задворках кинотеатра, туда после сеанса уборщицы выбрасывают мусор. Самое важное успеть первому. Ах, как восхитительно пахнут обрывки кинолент, это такое богатство в мальчишеской среде! Набрал много обрывков и склеек – есть чем меняться с ребятами, еще нашел красненькую с портретом Ленина, тридцатка! Хвастаюсь маме:

– Смотри, Мама, какую я денежку нашел!

– Молодец, только зачем она тебе? Давай меняться? Я тебе дам с летчиком, ты же любишь аэропланы...

Я в восторге. Так я разменялся с Мамой 30 рублей на 5 рублей. Потом еще раз поменялся на бойца с винтовкой, т.е. на трешницу, потом и эту отдал, я тогда был еще неграмотным.

Летом 1938-го года еду к тете Маруси в гости на лето. Ветка тупиковая, дальше Урюпинска линии нет. Не доезжая до города, тетя Маня подсаживает меня к окну и говорит: «Смотри, тут было крушение поезда...» Вижу лежащие под откосом искореженные остовы вагонов. Грохнулся пассажирский, было много жертв.

Тетя Маня живет на первом этаже. Дом старинный, низы из кирпича, а верх рубленый – деревянный. На втором этаже живет девчонка, она выходит на балкон и дразнит меня. Я отвечаю ей тоже дразнилкой. Она злится и, схватив поле-но, бросает в меня, да так удачно, что мне прямо по голове, я в рев. Нет, не от боли, боли-то нет, а от обиды. Тетя Маня дает мне конфетку, и я успокаиваюсь.

Копаемся за сараем в земле. Из-под стены выкапываем чугунную плошку, а в плошке туго связанная пачка денег с портретом Петра Первого. Делим между собой купюры, между дворовой детворой, а плошку тетя Маня забирает домой. Плошка хорошая, внутри облитая голубой эмалью, и крышка закрывается плотно, она тоже эмалированная. Долго она была у нас, до самой войны. Бабаня в ней тушила мясо.

В соседнем дворе под крыльцом сука оценилась. Здоровая и злая дворняга. Щенков не показывает и рычит на всех. Куда-то ушла, а меня дворовые ребяташки подбивают про-извести выемку щенков. Я залез под крыльцо и по одному доставал, подавал их ребятам, потом вылез сам, а мне кутен-ка не досталось, я в рев – где мой кутенок? Но тут вернулась мама щенков и подняла страшный вой и лай. Ребятня щен-ков побросали и в бега. Сучка стала собирать свое потом-ство и затаскивать в логово. Если бы она захватила меня под крыльцом с ее кутятами, наверное, порвала бы меня.

С одним мальчиком убегаем со двора. Он меня ведет

на «балласт» – так в Урюпинске называют песчаный карьер. Песок грузят на железнодорожные платформы и увозят. Мы сидим наверху карьера и смотрим – там внизу бегают маленькие паровозики и суетятся люди, как муравьи. Я тогда нашел «чертов палец», еще не зная, что он так называется. Лето, жара, пахнет мазутом и горелым углем. Я часто убегал, не слушался Тетю, и Тетя решила отправить меня домой к Бабане. Когда мы ехали поездом в Сталинград, с нами в купе ехал краснофлотец из отпуска. Он мне подарил звезду с бескозырки – мальчишеское счастье!

Мне в Урюпинске было запрещено ходить на р. Хопер одному, без тети Мани. Жара, песок. Кавалеристы купают коней. Лошади большие, блестящие, фыркают, ржут, кавалеристы весело гогочут. Эх, хорошо! Как хочется подойти и погладить боевого коня, но боюсь и стесняюсь, потом все-таки подошел поближе. Стою, засунув палец в нос.

– Эй, дядя, смотри, палец сломаешь. – Это они мне. Отрицательно качаю головой:

– Нее...

– Покататься хочешь?

Я онемел от неожиданности.

– Что молчишь? Боишься?

– Не боюсь, хочу!

Дядя кавалерист хватает меня и сажает на круп коня, конь поворачивает голову и смотрит на меня фиолетовым глазом, потом медленно, медленно идет в воду. Дядя с поводьями

в руках идет рядом. Конь зашел в воду, фыркнул и поплыл, сделав круг, выходит на берег. Дяденька ссаживает меня и, дав легкий шлепок по попке, подталкивает к тете Мане. Я счастлив до безумия, рот до ушей, глаза сияют. Не могу вымолвить ни слова. Мария Петровна Николаева, моя тетя, была замужем за командиром-конником, он трагически погиб, как – не знаю, вроде случайный выстрел. В Урюпинске было какое-то военное кавучилище, там и служил муж моей тети. Марию Петровну курсанты знали, поэтому и ее племянника катали на боевых конях. (Мне так кажется, что других мальчишек не катали, я такого что-то не припоминаю.)

Как-то Тетя Маруся вывела меня на прогулку, гуляем в саду. Где этот сад я не могу вспомнить, то ли в пойме Царицы, то ли это Лапшин Сад, а может в Урюпинске или в Средней Ахтубе. Собственно неважно где. Яблони усыпаны плодами, люди собирают плоды и грузят их на подводы. Жаркий звенящий день осени. И вдруг резкий порыв холодного ветра. Черная туча. Короткий злой ливень. Небо исполосовано молниями. Оглушительный грохот громовых раскатов. Мне страшно. Я уткнулся в колени Тети, она накрыла меня юбкой, а мне все равно страшно. Трясусь всем своим маленьким тельцем. Гроза также неожиданно прошла, как и началась. Идем домой, неся в руках обувь и шлепая босыми ногами по искрящимся лужам.

Туча мальчишек. И все мы бежим, бежим, бежим. Я самый маленький, бегу позади всех. Добежал. Стена детворы.

Протискиваюсь, пролазию между ног. И вот я впереди. Передо мной аэроплан, он только что сел. Два дяденьки-летчика в меховых одеждах в шлемах с очками – или ранняя весна или поздняя осень. Я закутан и обвязан шарфом. Пилоты что-то делают, я от восторга увиденным сосу палец, широко распахнув глазенки, а дяденьки, покуривая, разговаривают, не обращая на нас внимания. Вдруг один из пилотов подходит к нам, останавливается прямо против меня, присаживается на корточки и спрашивает меня:

– Будешь летчиком?

– Да, я буду летчиком! – отвечаю я твердо и уверенно.

– Не боишься?

– Нет, я храбрый.

– Молодец!

Он берет меня по мышке, точь-в-точь, как мой папа, и, сделав пару шагов, сажает меня в кабину на пилотское сидение. Надо мной далеко-далеко небо, улыбающееся лицо летчика, напротив меня приборная доска и штурвал.

– Ну вот, теперь ты настоящий летчик полетишь с нами?

– Да, я теперь летчик и полечу с вами! Только Маме надо сказать, а то заругается.

– Ладно, полетишь с нами в другой раз, когда мы прилетим еще, лады?

– Лады.

Он поднимает меня, ставит на землю и говорит:

– Беги к Маме домой...

И я бегу! Стена детворы расступается, и меня провожают десятки завистливых ребяческих глаз. Как мало надо для детского счастья, минута в кабине самолета и ты... Вбегаю в дом:

– Мама, Мама! Я на ероплане катался, дядя летчик сказал, что я настоящий летчик и завтра полечу с ними...

– И когда, и где врать научился? – говорит мне Мама с сердцем и раздражением.

Меня обжигает обида:

– Я не вру, не вру, не вру... – Плачу навзрыд, плачь переходит в истерику. Бабаня с трудом успокаивает меня. А к вечеру вся улица говорит, как Юрку на ероплане катали. Мама говорит мне:

– Прости сын... – и я снова счастлив.

Летчики так больше и не прилетали, но я долго ходил на место моего короткого счастья и все ждал и ждал их.

Летчиком я не стал, хотя пришлось малость поработать в 231-м и 5-м авиаотрядах СКТУ и ДВТУ ГВФ. А в памяти так и остались эти самые счастливые минуты детства. И хотя я работал техником ОСИ, но в кабины пилотов все же приходилось заглядывать, хотя я и не имел на то права!

Я часто гулял за городом в степи, а степь начиналась за окнами Бабаниного дома. Домик стоял окнами в бескрайность мальчишеского взора. Там, в этой бескрайности была таинственная неизвестность, и в жарком переливающимся мареве можно было увидеть ВСЕ! В степи я и нашел винтовочную

гильзу и огромную медную гайку. Гильзу положил в карман, а гайку несу в руке. Она такая большая, что не помещается в ладонке, тяжелая золотистая и очень, очень красивая. Я долго дружил с этой гайкой и почему-то думал, что она от подводной лодки. Я и сейчас ее помню и ощущаю ее тяжесть, ее тепло. Я даже спал с ней. А гильзу я потерял тогда же и без жалости. Я бы и не вспомнил о гильзе, если бы не и нашел их вместе.

Мы с приятелем частенько убегаем из детсада, но степь нас уже мало привлекает. Мы нашли другое место, более интересное – на кладбище за тюрьмой! Видно как по мосту через Царицу идут поезда и грузовые, и пассажирские, можно увидеть, как рабочие проезжают на дрезине и пробегают маневровые «кукушки». Мы сидим на могилке с кованым ажурным крестом и наблюдаем, как учатся красноармейцы, у бойцов очень красивая форма. Ах, как хочется прикоснуться к ружью! Однажды мне улыбнулось счастье. Бойцы разбежались и попрятались за могилки, и один из них укрылся за нашей могилкой. Он дал нам погладить приклад и даже разрешил подергать за затвор. Бойцы построились и ушли, а мы сидим и смотрим на железнодорожный мост – кто угадает какой пойдет поезд.

Я, по-моему, еще не ходил в школу, а Папа взял меня с собой. Едем на бричке-одноконке, Папа понукает лошадь, чмокая губами, я всю дорогу пытаюсь научиться, подражая Папе – не получается, не научился! Приехали на плантацию.

Растут всякие овощи. Заведующий угощает нас. Нарезали огромное блюдо помидоров с луком, чесноком и огурцами, полили маслом, посолили и сели прямо на траве. Папа из веточек нарезал вилки-рогалики. Я сижу вместе со взрослыми и ем из общего блюда. Ох, и вкуснотища же! Деревянной вилкой стараюсь подцепить аппетитный ломтик помидора. А хлебушек? Как у Бабани, на капустном листе домашний, ржаной, подовой, но... все-таки вкуснее, чем у Бабани. Вот и запомнилась эта поездка именно из-за вилки-веточки.

В далеком детстве был праздник, когда варили холодец. В каждой ножке была косточка-альчик, а это было огромное богатство в нашем мире. Сейчас игра в альцы забыта. Правила этой игры я уже не помню. Мы играли в альчики целыми днями, и у каждого было в запасе дома несколько десятков альцов на игру. Зимой играли в казанки-бабки. Взрослые парни играли на деньги, мы же, малышня, играли на альчики или на казанки, стараясь выиграть у противника его запасы. Это богатство переходило из рук в руки, но мы знали свои и старались отыграть в первую очередь свои, если шла удача. Мне до сих пор непонятно, каким образом из десятков косточек, мы узнавали свои, проигранные когда-то в прежних играх. Альчик подбрасывали вверх двумя пальцами, создавая кручение в воздухе. Альчик падал на ровную, мягкую песчаную площадку и в зависимости от его положения набирались очки. Чика и чек, рыка и рез, буза и баз. В казанки играть было проще, нужен был меткий бросок. Казанки уста-

навливались в ряд на десять-пятнадцать шагов и битой-казанкой, залитой свинцом, старались выбить казанки из ряда партнера.

Мои партнеры по казанкам и альчикам уже ушли из этой жизни и спят вечным сном, обретя покой. Я пережил всех, а для какой цели меня хранит судьба – не знаю! В меня стреляли Русские и Немцы, на мою голову сыпали снаряды, мины, бомбы и те и другие. Меня били торговки на базарах, били милиционеры, били почти каждый день и били за то, что я хотел есть, а есть хотелось постоянно, и на яву и во сне! Страшное чувство голода и мечта наестся досыта хоть раз и умереть! Кто сможет понять весь ужас нашего военного детства, не имея нашего пережитого опыта? Ну-ка попробуйте пережить: вдохнув фонтанчик пыли у носа от пули, выпущенной в тебя с вышки нашим Советским солдатом, ты ползешь к колючей проволоке за куском хлеба. И тебе этот кусок бросают военнопленные Немцы из-за ограды лагеря. Правда, смешно сейчас слышать об этом? Да? Но это было, было! И этого из памяти не убрать никогда!

Дело было зимой. На санках катался целый день. Легкий морозец, солнце. Деревья все опушены инеем – белые, лохматые. Все сверкает, даже на ресницах блески. Ну, я и мотался с ребятней на извозе – с обрыва на берегу. Варезки мокрые, парят, и не заметил, как перемерз, морозец-то закрепчал. Мокрые варезки задубели, веревка-поводок от санок стала как кол, не гнется. Домой, домой! А рук уже не чув-

ствую. Еле-еле добрался до дома. Ввалился, а раздеться уже не могу. Бабаня срезала пуговицы, сняли с меня задубелую одежду, руки сунули в холодную воду и стала оттирать. Боль страшная, аж сердце заходит, ору диким голосом. Мало-помалу отошел, а дома забили поросенка. Бабушка напекла пирогов с ливером, горячие ароматные – вкуснятина, ух! А взять в руки не могу, руки распухли. Так и ем, как чушка, прямо носом с тарелки; откушу, а Бабаня подвигает кусок пирога к краю тарелки, так и доел. Бокал горячего чая держу двумя запястьями. Руки остались целы, а мог бы и калеккой остаться, повремени еще с полчаса на катании. В другой раз отморозил ухо. Было тепло, шел мокрый снег, мне в левое ухо снега и набило, а я и не почувствовал. Наутро ухо висело до плеча, и было желто-прозрачное, налитое водой и огромное. Бабаня мазала мне ухо гусиным жиром. Ухо осталось цело, а могло и отвалиться. После, когда опухоль сошла, ухо было покрыто черной коростой, и очень медленно эта корка сходила, а когда сошла, то ухо было нежно-розовым и совсем не терпело холода, ни малейшего. И мне пришлось ходить с опущенными ушами малахая.

В детстве я любил уединение. Помню, между сараем и уборной был прогал. В этом промежутке я сделал себе логово-шалаш. Нарубил на пустыре будыльев бурьяна, притащил из степи здоровый шар перекасти-поля, и этот шар стал у меня дверью. В этом-то логове я иногда мог пролежать даже целый день и вытащить меня на обед был весьма пробле-

матично. Жара и нет аппетита. Как-то Бабушка попросила папу сделать корытце для корма курей, мы держали до войны десять-пятнадцать кур во главе с петухом. Отец долго строгал, пилил, стучал молотком, наконец, сделал. Бабушка вышла, посмотрела, осуждающе покачала головой: «Из этого корыта отару овец поить можно. Экую орясину сгондобил, ну право гроб для покойника...» Бабаня ушла в дом, а я вылез из своего шалаша, подошел к корыту, посмотрел на него, потом влез в корыто, снял штаны и насрал. Застегнул штанишки, привел себя порядок и с чувством исполненного долга удалился в свое убежище. Там, дома, Бабушка рассказала Маме про корыто, и они вдвоем допекли моего Отца его несуразным изделием, Отец психанул: «На вас никогда не угодишь, что не сделаешь – все не так, все плохо!» Схватил топор и вышел во двор с намерением сокрушить свое изделие. Подошел к корыту и остолбенел, пораженный увиденным. Это переполнило его чашу терпения. Отшвырнув в сторону мою дверь-перекати-поле, схватил меня за ногу, выволок из моего убежища. Подтащив меня к корыту, ухватил за уши и стал носом окунать меня в мое собственное говно, свеженькое и тепленькое. Удивительно, но мне не было противно, не было больно, не было обидно – мне было смешно, я исходил от хохота, а он, мой Папа, все больше и больше свирепел. Чем бы это все кончилось, не знаю, но во двор выбежали все: Бабаня, Мама, Тетя Маруся и, конечно, Надька (сестра). Вой и визг были громкие, но вот меня отняли,

обмыли, обласкали и закормили лакомствами. Даже Надья подарила мне свою самую любимую куклу, правда потом она ее тихонько забрала. А я в куклы не играл и не особо расстроился! Пусть. А корыто так и осталось жить до самой войны. Бабушка в него сыпала корм курам.

Когда и почему мне дали кличку «Серый»? Не помню и не знаю. Я был злым и не давал себя в обиду. Старше, сильнее, для меня не имело значения. Я лез в драку, меня били, а я кусался, царапался, мог и куском кирпича погладить по темечку. Был случай, когда большие парни ради забавы стравили меня с более рослым и более сильным пацаном. Я бился с ним не на жизнь, а на смерть! Я весь измазался кровью из носа, измазал противника, но добился победы, противник отступил! Парни похвалили меня: «...Ну, прямо волчонок, вырастит – зверем будет, волком серым...» Может тогда прилипла ко мне эта кликуха? Ходил ли я тогда в школу? Не помню, может и ходил в первый класс? Может!

Перед самой войной, я вроде бы еще и в школу не ходил, у нас появилась женщина с двумя мальчиками. За лето слепили землянушку на откосе Царицы, а сами жили в квартирантах у дяди Толи Норвега. Подружиться мы еще не успели, но общались с этими мальчишками. Эти ребята, не в пример нам, были воспитанными и очень много знали – кто, где, когда и что. На вопрос, где Папа, Мама – односложно отвечали – мы сироты, живем с Бабушкой, но в других вопросах они были выше нас на целую голову. В 1940-м году я пошел

в первый класс, а «Гора» (так кличили младшего из ребят) учился во втором, его брат Виктор учился в четвертом. Жили они очень бедно, Бабка их работала по людям. На производство ее не брали, хотя она была очень грамотной. Потом просочились слухи, что их родители враги народа и сидят в тюрьме, хотя я этому сейчас не верю, им бы не разрешили жить в Сталинграде. В общем, таинственность привязывала меня к ним больше, хотя другие их сторонились. Я набивался к ним в друзья, а они сторонились всех. Так мы и жили до войны. Потом призвали наших отцов, мы их проводили на фронт и как-то незаметно сравнивались по положению. Пришли Немцы. Где они перебивались грозные дни — не знаю. Наверное, в 44-м ребят забрали у Бабки в детдом, а сама Бабушка как-то быстро постарела, сгорбилась. Жила очень трудно и умерла, наверно, в 1947—48-м г. Конечно, мы знали о Тимуре с командой и Мишке Квакине, но Тимур нас не привлекал и высмеивался нами как чистоплюй. Мы, дворовая ребятня, дрались, хулиганили, курили и воровали и Квакин, конечно, был из нашей компании. А вот Горкиной Бабке мы помогали, хотя себя Тимуровцами не считали. Носили ей воду, доставали уголь, помогали с дровами. Подкармливали ее и соседи. Жалели. Военное лихолетье сближало людей. Потом уже, после войны, как-то на ветке Камышин — Мичуринск я встретил в поезде Горку, он ехал в Сталинград (из детдома) в Ремесленное училище. Я в то время еще бегал по воле, т.е. воровал по поездам. С Горкой мы

встретились радостно, как родные. Я ему рассказал все о его Бабке и как мы всей дворовой кодлой помогали ей. В Камышине мы расстались, чтобы уже никогда не встретиться. При расставании Горка показал мне свой кулак: «Помнишь?» Да, я помню. На кулаке имя «Гора» обвито толстой синей змеей. Я помню. Это была моя работа. Весной 1943-го года я нажег резины и копотью замешенной на Горкиной моче, сделал ему наколку на тыльной стороне ладони. До сих пор, проезжая в городском транспорте, я смотрю на мужские кулаки, сжимающие поручни – а вдруг увижу синюю змею обвивающую имя «Гора». При последней нашей встрече мне было 13 лет, Горке 14. Завтра мне исполнится 60, я стал еще на год старше. А где мои мальчишки войны?

Перед самой войной с Шуркой нашли в степи снаряд. Ржавый. Наверное, еще с Гражданской. Таскали его, таскали, думали, что с ним делать? Бросить жалко, уж больно вещь хорошая! Либо сами додумались, или кто надоумил – развели костер на пустыре, и закатили туда снаряд. Скомандовали: «Бежим!» – и побежали, а малышня наша – Женька, Ленка и Надька уселись у огня и подкладывают в костер щепки, палки, будыли; мы с Шуркой осипли от крика, сорвали голоса, нам страшно идти к костру, а детвора на нас ноль внимания и нам страшно за них. На счастье шел какой-то мужчина, раскидал и затоптал огонь, наш снаряд откатил в сторону и потом забрал его с собой, снаряд еще не успел нагреться.

Откуда на дороге столько гвоздей? Миня-Запупыня до-

стал где-то огромный магнит, привязал его на веревочку и ходит по дороге, таская за собой на буксире. Пройдя метров сто, собирает с магнита гвозди – ржавые, горелые, а есть и прямо новые совсем. Так постепенно он обходит нашу улицу, собрав гвозди с нашей улице и рассортировав их, затем переходит на соседнюю улицу, но ребята ему не дали просто так собирать их гвозди. Отобрали магнит и прогнали, и пришлось Мине магнит выкупать, хотя он пытался их разжалобить. Плакал и говорил, что гвозди ему нужны для гроба – скоро его папаня помрет, и он будет делать ему домовину. Отец его лежал дома, худой и желтый, тяжело и нудно кашлял, сплевывая в таз. Осенью 1941-го года он помер, лежал на столе в белой рубаше и со свечкой в руках, а на лбу у него была лента с молитвой. Мы ходили гуртом посмотреть и попрощаться. С Миней ходили на рыбалку, поймали нет ничего, по паре тарашек. Шли домой, я что-то рассказывал Миньке. Повернул голову, а Миньки нет. Обернулся, а он отстал и жрет сырую рыбу, говорю ему удивленно:

– Минька, ты что? Сырую ешь?

– Ага, а то Мамка дома коту рыбу скормит, а мне жалко. Пусть кот мышей жрет, я же мышей есть не буду...

А мне рыбы коту не жалко, пусть лопает и мышей и рыбу. В другой раз мы рыбу домой не понесли. Пойманную рыбешку завернули в лопухи и обмазали грязью. Выкопали ямку, уложили туда рыбу и развели костер. Когда палки прогорели, мы уголья разгребли и достали запеченную рыбку.

Вкусненькая, нежненькая. Не помню, где я подсмотрел этот способ готовки, но научил Миньку. Жалко мне его было, что жрать сырую-то? Пусть ест печеную,

Недалеко от нас живут две старушки, их зовут монашка-ми. Домик маленький, игрушечный, чистенький и весь в цветах, в уюте. Во дворе тоже цветник, засаженный невиданными мной растениями. Я приходил к ним в гости довольно часто, и хотя они все делали с молитвой, мне нравилось бывать у них. Пить душистый травяной чай и слушать их рассказы о растениях. Тогда я впервые узнал, что растения умеют разговаривать и умеют слушать, и хотя не верил в такое, но слушать было интересно, однажды они угостили меня диковиной штуковиной. Плодик поболе грецкого ореха, но чуть меньше мандарина красный, как помидор, и семечки, как у помидора, только мелкие. Вкусом – кисло-сладкий, особенный, незабываемый. Только раз в жизни мне пришлось скушать такую диковинку, и больше я не видел и не слышал о подобных фруктах. Сам плодик растет закрытый в остро-конечную скорлупу. Хвостик, острые носики, шестигранная коробочка.

Лето. Белый горячий сыпучий песок, теплая вода. Папа, Мама, я, Папин приятель со своей тетей, все мы отдыхаем на реке. Мне надоела возня в лягушатнике на мелководе, и я хожу за двумя взрослыми парнями. Они с бреднем ходят вдоль берега, а на берег выбрасывают клочья тины, ракушки, разную дрянь и много мальков. Парни вытряхивают бредень

на песок и снова идут в заброд. Мне жалко мальков, я собираю их и выпускаю в воду. Парням надоело это занятие они сели и закурили, я стою рядом. Подходит старик и, показывая пальцем, говорит:

– Забредите вон там, там яма.

Парни отмахиваются, им надоело, жара, лень. Подходит мой Папа и просит:

– Ребята, дайте бредешок, побалуемся.

– Возьмите, побродите...

– Рыба пополам?... – спрашивает Папа.

– Возьмите всю себе, а вот этому пацану – показывает на меня – самую большую...

И весело смеются. Папа берет бредень и с приятелем начинают бродить. И снова тина, ракушки, разная дрянь и мальки, я снова собираю мальков и отпускаю их в воду. Снова подходит старик и снова показывает, где надо бродить. Папа с дяденькой забредают в указанное место, там глубоко и дяденька тянет бредень вплавь. Дяденька и Папа переглядываются и быстро идут к берегу. В мотне бредня бьется огромная рыба – золотистый сазан! Я визжу от восторга, сбегаются пляжники. Охают, ахают, хозяева бредня стоят, раскрыв рты. А я кричу:

– Моя рыба, моя рыба, она самая большая, моя большая рыба!

Наши укладывают сазана в зембель, рыба заняла все пространство кошелки, голова и махалка торчат наружу. Ве-

чером пир горой. Бабаня нажарила сазана и в жаровне лежат золотистые куски, источая аппетитный аромат. Две семьи не могут управиться с моей рыбиной. Это был первый удачным улов в моей жизни.

Какое было у меня 1-е сентября 1940-го года? Первый раз в первый класс. В школу меня провожала тетя Маня, родители были в командировке. Первый день запомнился курьезом, одна упитанная крупная девочка описилась в классе, не сме-ла попроситься выйти. Я уже не помню своих первоклашек. Потому что провели мы вместе, всего только один лишь год. На второй год наш класс основательно разбавили беженцами, да и еще перевели в другую школу, соединив два класса. Во многих школах открылись военные госпитали и нас уплотнили, что делать война! Да, война страшная, жестокая и безжалостная! Когда пришел первый раз во второй класс, в школе не было обычной суеты и шума. В школе стояла напряженная и тревожная тишина. У многих отцы уже были призваны, а кое-кто уже получил похоронки. В общем, настроение было подавленное. В центральной газете на первой странице фотоснимок: убитый мальчик, а изо рта струйка крови. Мой Папа еще дома, но скоро и я буду провожать его на войну. Останусь один «мужчина» в семье. Курить я уже умею, оденусь в немецкие обноски, завшивлюсь и научусь воровать. Второй класс сохранил как-то больше в памяти лица, но не имена. А из первого класса помню очень мало ребят – многие вскоре уехали в Сибирь и в деревни. Жить ста-

ло сразу труднее. А вот третий класс уже с годовалым перерывом и все чужие.

Война

Началась война. Казалось бы, такое событие должно оставить в памяти яркий немеркнувший след, но увы... тусклая, едва заметная полоска памяти. Утром, схватив по куску хлеба, убежали на Волгу. А Папа в этот день, еще затемно, уехал на огород окучивать картошку. Приехал часа в четыре вечера, поставил ведро вверх дном, сел на него, упер локти в колени, положил подбородок на ладони и сказал: «Ну, вот и все. Отжили свое...» Таким я и запомнил этот день, день начала войны: отец сидит на ведре посреди двора, у ног его лежит мотыга. Потом я увидел сон: с Папой иду по редколесью, кусты-деревья в рост человека и гроздь крылышек-семян на ветках. Папа в коричневом костюме-тройке. И вот Папа отдаляется от меня, я вижу расстегнутый пиджак, жилетку – все это закрывается туманом, все дальше и дальше уходит видение, лицо Отца... Лицо, фигура теряют очертания в дымке. Я кричу: «Папа, Папа!» А Папа тает, тает, тает. И тут кукушка прокуковала четыре раза: «Ку-Ку, Ку-Ку, Ку-Ку, Ку-Ку!» Я проснулся. Сон яркий, цветной. Я помню его и сейчас, как будто только что проснулся. Я рассказал свой сон домашним, а соседка-гадалка сказала: «Отец будет жив и вернется домой через четыре года...» Так и произошло в яви.

21-го июня 1991-го года. Сегодня год как нет Отца. 13-го

сентября 1941-го года я провожал его на фронт. На вокзале стоял Великий Плач! Голосили бабы, выли старухи, кричали дети. Такого я никогда больше не слышал в своей жизни и не видел! Но вот прозвенел последний удар станционно-го колокола, крик всколыхнулся, поднялся ввысь и забился вдоль тронувшегося состава. Эшелон, покачиваясь на рельсовых стыках, на стрелках, извиваясь на переходах, уходил в страшное неизвестное, в войну. Он увез наших родных, оставив нам надежду. Лето прошло, но было солнечно и жарко. Летела паутина, блестя на солнце серебряными нитями. Мы ловили ее и сматывали в бобины. Последние забавы из отнятого детства. Через год на нас высыплют тон мин, снарядов, авиабомб. Наш город останется только на географических картах и в нашей памяти. Погибнут уехавшие на фронт, погибнут оставшиеся дома от случайных ран, перемрут от голода, от тифа. А мы, оставшиеся в живых, отупевшие и одичавшие, будем думать о куске хлеба, и ждать, и надеяться.

Август-сентябрь 1941-го. В степи разбился самолет У-2 – «Кукурузник». Он все крутился, крутился, всякие штучки-дрючки выпендюривая в воздухе, а потом клюнул носом и пошел к земле. Мы сразу бегом, аж дух захватывало, но, когда подбегали, там уже стоял милиционер и ни кого не подпускал близко. Потом приехали бойцы, подтащили мертвого летчика к разбитому самолету, прикрыли его брезентом. Оставили часового и уехали. Нам с Санькой очень нужен был

пистолет. Мы все ползли и ползли к самолету, чтобы стащить пистолет у мертвого летчика. (А был ли у него пистолет?) Но боец нас заметил и, заорав дурным голосом, клацнул затвором и бахнул вверх. Мы вскочили и бросились бежать, но решили, как стемнеет попытаться снова, но увя... пришла машина, летчика погрузили, что-то еще кинули в кузов. Потом пришла еще машина. Механики повозились, повозились, перевернули самолет на колеса, прицепили его на буксир, погрузили обломки и уехали. На земле остались кусочки фанеры, целлулоида, масляные лужицы и специфический запах самолета. Пистолет нам украсть не удалось.

Нас рассадили по разным партам. Мне в соседки досталась девчонка, причем самая красивая в классе. Эмма Кауфман, я запомнил ее из всех девчат второклассников. Нас ведь рассаживали к примерным с надеждой на искоренение хулиганства, причем самым оголтелым хулиганам доставались и самые примерные ученицы. Эмма не пыталась меня перевоспитывать нотациями, одергиванием, нет, она вела себя совершенно равнодушно к моим «героическим» выходкам. И, в общем-то, мы ладили без моралистики, просто она вела себя со мной как со своей подругой – неплохой подружкой, только не совсем умной, так с придурью малость. Так... В классе идет проверка на вшивость. Санитарный врач проверяет белье, я заглядываю в свою рубашку и... О ужас! Ползет внутри огромная, с дворнягу, вошище! Я пытаюсь ее спихнуть вниз с полотна рубашки, но он упрямо ползет

вверх, а врач от нас уже через парту. Эмма спрашивает:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.